

Иосиф БРОДСКИЙ:

Жить просто: надо только понимать, что есть люди, которые лучше тебя. Это очень облегчает жизнь

Евгения АЛЬБАЦ, «Известия»

В понедельник он должен был начать свой ежевесенний курс лекций по сравнительному литературоведению в знаменитом гуманитарном колледже Маунт Холлиок, в штате Массачусетс, в Новой Англии. Он умер накануне. В своем доме в Нью-Йорке. Умер во сне — так, говорят, умирают праведники. Но, думаю — нет, не думаю — знаю: при слове «праведник» Бродский бы скривился — для него был мучителен дурной тон, и замахал бы руками — какой к черту праведник! Он был гений — в стихах, в лекциях, в беседах. Прагматичная Америка признала это, когда в 1981 году суперпрестижный Фонд Маккартура дал ему «премию гения» — а как, собственно, еще можно при жизни достойно признать гениальность поэта?

Говорить с ним было счастьем, хотя и счастьем трудным, — он оперировал тысячелетиями и культурой веков и стран, но даже чувство собственной очевидной неполноценности этого счастья не уменьшало. Он умел слушать: спорил, если не соглашался, но не возил носом по столу, даже если вы несли ересь. Он был нормальным — никогда не вставал на котурны, замечательным, веселым человеком. Хорошо, с любовью, пил водку. К женщинам относился как к чуду природы и своего восхищения божьим искусством не скрывал, что для пуританской Новой Англии, в которой борьба за равенство полов загнала сексуальность в

подполье, было афронтом. Но ему прощали — гений.

Страшно много курил, только когда его больное сердце совсем уже его припирило, бросал — курил втихаря. Курил даже в аудитории, хотя в общественных местах Америки это строжайше запрещено. Но он нарушал это правило не оттого, что не признавал законов, напротив, считал законы величайшим достижением человеческого сознания, необходимостью, только и способной сдерживать несовершенную натуру человека, не унижая притом в человеке человека; нарушал потому, что ему было трудно говорить без сигареты. А говорить — это думать. А думать в рамках он не мог.

Пожалуй, главное в Бродском — так я это поняла и увидела — это совершенно естественное и абсолютное чувство собственной свободы. «Свобода, — как-то сказал он, — это когда ты можешь идти в любом направлении». Он и Америку любил за простор и страсть к перемещению. «В Европе, — говорил, — ехать 12 часов не останавливаясь нельзя — там все напряжено прошлым». В Европе ему было тесно — она для него была слишком скученная, как клетка. Но Италию обожал — за это самое прошлое. А, может быть, потому, что там нашел себе жену — красивую, истонченно-бледную русскую княжну. Она родила ему девочку, Анну Марию, которой сейчас два с половиной года. Мне кажется, что если Бродский кому-то и принадлежал, так вот этой своей девочке.

Вообще он был человеком Вселенной, и просто так случилось, что жил и умер на Земле. Советская власть пыталась посадить его в клетку — отсюда все его диссидентство. Он сопротивлялся не потому, что был борцом или политиком, — просто жить в клетке для него было противоестественным, невозможным — он таким родился. В конце февраля ему должны были делать еще одну операцию на открытом сердце — две он уже пережил. Собирались еще осенью, но он все откладывал. Может быть, потому, что боялся умереть не дома. Может быть, потому, что знал, что шансов и с операцией, и без нее немного. А он знал. Может быть, потому, что не хотел умереть, обвитый проводами и привязанный ими к разным умным машинам, помогающим дышать и качать кровь. Он умер во сне. Во сне люди летают.

Мы говорили с ним несколько раз. Однажды, еще в доме, который он снимал в богемном нью-йоркском квартале Гринвич Виллидж, просидели несколько часов перед магнитофоном. Но потом пленка, пройдя через границы и таможи, странным образом стала шуметь, и у меня ушли многие месяцы, чтобы хотя бы часть ее расшифровать. Слава Богу, мне хватило тогда ума не полагаться на магнитофон, но параллельно записывать все в блокнот. Из этих бесед и сложилось это интервью — не интервью, а некая мозаика размышлений Иосифа Бродского о себе, о России, об Отечестве.

О себе

Я ничего не придумываю, так было, наш последний разговор начался с этой его строчки, написанной давно, еще в России: «Ни страны, ни погоста...»?

Он сказал: «И сейчас так. Мы привыкли отождествлять себя с местом, где живем, — это неправильно. Где вы живете, определяется частотой возвращения в одну точку — не более того, все остальное — фиктивные понятия... Для меня такое место уже много лет — эта улица в Гринвич Виллидж. В этом смысле я американец. Но есть и в других странах, например, в Италии, места, куда я люблю и хочу возвращаться. Потому — «ни страны, ни погоста».

О возвращении

«Время от времени меня подмывает сесть на самолет и приехать в Россию. Но мне хватает здравого смысла остановиться. Куда мне возвращаться? Ведь это теперь уже другое государство, чем то, в котором я родился. Я по-прежнему думаю об этой стране в категориях Союза, не России. С этой страной меня связывает только прошлое. Прошлое, которое дало мне абсолютно все, дало понимание жизни. Россия — это совершенно поразительная экзистенциальная лаборатория, в которой человек сведен до минимума, и потому ты видишь, чего он стоит... Но возвратиться в прошлое нельзя и не нужно. У человека только одна жизнь, и когда справедливость торжествует на тридцать или сорок лет позже, чем хотелось бы, человек уже

не может этим воспользоваться. Поздно. К сожалению, поздно... Я не хочу видеть, во что превратился тот город Ленинград, где я родился, не хочу видеть вывески на английском, не хочу возвращаться в страну, в которой я жил и которой больше нет... Знаете, когда тебя выкидывают из страны, — это одно, с этим приходится смириться, но когда твое Отечество перестает существовать, — это сводит с ума...»

О постсоветской России

«Не надо строить иллюзий: у человека и общества не так много вариантов для выживания. Один вариант мы испытали на своей шкуре — «рай для всех», который обернулся убийством многих. Другой — тоже не малина. Но, наблюдая за тем, что происходит в России, видишь колоссальную пошлость человеческого сердца. Мне казалось, что самым замечательным продуктом советской системы было то, что все мы — или многие — ощущали себя жертвами страшной катастрофы, и отсюда было если не братство, то чувство сострадания, жалости друг к другу. И я надеялся, что при всех этих переменах это чувство сострадания сохранится, выживет. Что наш чудовищный опыт, наше страшное прошлое объединит людей — ну хотя бы интеллигенцию. Но этого не произошло... От этого мне хочется рветь... Нет, конечно, слава Богу, что тот бред кончился, но на новый поворот уйдут десятилетия и десятки жизней, которых никто и не помянет. Я всегда вспоминаю старика, которого

встретил на одной из пересылок. Я тогда совершенно отчетливо понял, что он так и сгинет где-нибудь в лагере или в «столыпине». И никто его не вспомнит. Вот этого я простить не могу. К человеку нельзя относиться как к массе, человек не терпит обобщения — этого у нас пока все еще не поймут».

О власти

«К сожалению, к власти всегда приходят не самые лучшие люди. Чехам невероятно повезло с Гавелом. Нам тоже бы не помешало иметь у власти человека с пониманием таких вещей, как честь и достоинство, с ощущением своей вины и своего стыда. Гавелу стыдно, а Валенсе или Ельцину — нет. В принципе, к власти должны приходиться люди, которые не боятся быть проклятыми, то есть люди, которые любят других больше, чем себя и себя во власти. Которые способны жалеть других. Но такие люди чаще всего государственными деятелями не становятся. А Ельцин... Что Ельцин? Он плоть от плоти той системы».

О литературе

«Людей переделывать бесполезно. Но можно и нужно бороться с дурновкуемием, внушать им сомнения по поводу самих себя — в этом и есть задача искусства и литературы».

О жизни

«Жить просто: надо только понимать, что есть люди, которые лучше тебя. Это очень облегчает жизнь». МАССАЧУСЕТС, США.